

Григорию Лукьяновичу
Скуратову-Бельскому
по прозвищу Малюта

Сон все тот же: иду по полю бескрайнему, русско-
му, за горизонт уходящему, вижу белого коня впереди,
иду к нему, чую, что конь этот особый, всем коням
конь, красавец, ведун, быстроног; поспеваю, а догнать
не могу, убыстряю шаг, кричу, зову, понимаю вдруг,
что в том коне — вся жизнь, вся судьба моя, вся удача,
что нужен он мне как воздух, бегу, бегу, бегу за ним, а он
все так же неспешно удаляется, ничего и никого не за-
мечая, навсегда уходит, уходит от меня, уходит на-
веки, уходит бесповоротно, уходит, уходит, уходит...

Мое мобило будит меня:

Удар кнута — вскрик.

Снова удар — стон.

Третий удар — хрип.

Поярок записал это в Тайном приказе, когда
пытали дальневосточного воеводу. Эта музыка
разбудит и мертвого.

— Комяга слушает, — прикладываю холодное мобило к сонно-теплому уху.

— Здравы будьте, Андрей Данилович. Коростылев тревожит, — оживает голос старого дьяка из Посольского Приказа, и сразу же возле мобилы в воздухе возникает усато-озабоченное рыло его.

— Чего надо?

— Осмелюсь вам напомнить: сегодня ввечеру прием албанского посла. Требуется обстояние дюжины.

— Знаю, — недовольно бормочу, хотя, по-честному, — забыл.

— Простите за беспокойство. Служба.

Кладу мобило на тумбу. Какого рожна посольский дьяк напоминает мне про обстояние? Ах да... теперь же посольские правят обряд омовения рук. Забыл... Не открывая глаз, свешиваю ноги с постели, встряхиваю голову: тяжела после вчерашнего. Наштупываю колокольчик, трясусь. Слышно, как за стеной Федька спрыгивает с лежанки, суетится, звякает посудой. Сижусь, опустив не готовую проснуться голову: вчера опять пришлось принять по полной, хотя дал зарок пить и нюхать только со своими, клал 99 поклонов покаянных в Успенском, молился святому Вонифатию. Псу под хвост! Что делать, ежели окольникему Кириллу Ивановичу я не могу отказать. Он умный. И горазд на мудрые советы. А я, в отличие от По-

ярка и Сиволая, ценю в людях умное начало. Слушать премудрые речи Кирилла Ивановича я могу бесконечно, а он без кокоши неразговорчив...

Входит Федька:

— Здравы будьте, Андрей Данилович.

Открываю глаза.

Федька стоит с подносом. Рожка его, как всегда с утра, помята и нелепа. На подносе традиционное для похмельного утра: стакан белого квасу, рюмка водки, полстакана капустного рассола. Выпиваю рассол. Щиплет в носу и сводит скулы. Выдохнув, опрокидываю в себя водку. Подступают слезы, размывая Федькину рожу. Вспоминается почти все — кто я, где и зачем. Медлю, осторожно вдыхая. Запиваю водку квасом. Проходит минута Неподвижности Великой. Отрыгиваю громко, со стоном нутряным. Отираю слезы. И теперь вспоминаю уже все.

Федька убирает поднос и, опустившись на колени, подставляет руку. Опираюсь, встаю. От Федьки утром пахнет хуже, чем вечером. Это — правда его тела, и от нее никуда не денешься. Розги тут не помогают. Потягиваясь и кряхтя, иду к иконостасу, затепливаю лампадку, опускаюсь на колени. Читаю молитвы утренние, кладу поклоны. Федька стоит позади, позевывает и крестится.

Помолившись, встаю, опираясь на Федьку. Иду в ванную. Омываю лицо приготовленной коло-

дезной водою с плавающими льдинками. Гляжусь в зеркало. Лицо опухло слегка, воскрылия носа в синих прожилках, волосы всклокочены. На висках первая седина. Рановато для моего возраста. Но — служба наша такая, ничего не попишешь. Тяжкое дело государственное...

Справив большую и малую нужду, забираюсь в джакузи, включаю программу, откидываю голову на теплый, удобный подголовник. Смотрю в потолок на роспись: девки, собирающие вишню в саду. Это успокаивает. Гляжу на девичьи ноги, на корзины со спелой вишней. Вода заполняет ванну, вспенивается воздухом, бурлит вокруг моего тела. Водка внутри, пена снаружи постепенно приводят меня в чувство. Через четверть часа бурление прекращается. Лежу еще немного. Нажимаю кнопку. Входит Федька с простыней и халатом. Помогает мне вылезти из джакузи, оборачивает простыней, кутает в халат. Прохожу в столовую. Там Танюшка уже сервирует завтрак. На стене поодаль — пузырь вестевой. Даю голосом команду:

— Новости!

Вспыхивает пузырь, переливается голубо-бело-красным флагом Родины с золотым орлом двуглавым, звенит колоколами Ивана Великого. Отхлебнув чаю с малиной, просматриваю новости: на северо-кавказском участке Южной стены

опять воровство приказных и земских, Дальневосточная труба так и будет перекрыта до челобитной от японцев, китайцы расширяют поселения в Красноярске и Новосибирске, суд над менялами из Уральского казначейства продолжается, татары строят к Юбилею Государя умный дворец, мозгляки из Лекарской академии завершают работы над геном старения, Муромские Гуслиеры дадут два концерта в Белокаменной, граф Трифон Багратионович Голицын побил свою молодую жену, в январе в Свято-Петрограде на Сенной пороть не будут, рубль к юаню укрепился еще на полкопейки.

Танюшка подает сырники, пареную репу в меду, кисель. В отличие от Федьки, Танюшка благолепна и благоуханна. Юбки ее приятно шелестят.

Крепкий чай и клюквенный кисель окончательно возвращают меня к жизни. Спасительный пот прошибает. Танюшка протягивает мне ею же расшитое полотенце. Я отираю лицо свое, встаю из-за стола, крещусь, благодарю Господа за пищу.

Пора приступать к делам.

Пришлый цирюльник уже ждет в платяной. Следую туда. Молчаливый, приземистый Самсон с поклоном усаживает меня перед зеркалами, массирует лицо, натирает шею лавандовым маслом. Руки у него, как у всех цирюльников, малоприятные. Но я принципиально не согла-

сен с циником Мандельштамом — власть вовсе не “отвратительна, как руки брадобрея”. Власть прелестна и притягательна, как лоно нерожавшей златошвейки. А руки брадобрея... что делаешь — бабам наших бород брить не положено. Самсон пускает мне на щеки пену из оранжевого баллончика “Чингисхан”, предельно аккуратно размазывает, не касаясь моей узкой и красивой бороды, берется за бритву, размашисто правит ее на ремне, прицеливается, поджав нижнюю губу, и начинает ровно и плавно снимать пену с моего лица. Смотрю на себя. Щеки уже *не очень* свежи. За эти два года я похудел на полпуда. Синяки под глазами стали нормой. Все мы хронически недосыпаем. Прошлая ночь — не исключение.

Сменив бритву на электрическую машинку, Самсон ловко поправляет секирообразный острок моей бороды.

Я сурово подмигиваю себе: “С добрым утром, Комяга!”

Малоприятные руки кладут на лицо горячую салфетку, пропитанную мятой. Самсон тщательно вытирает мое лицо, румянит щеки, завивает чуб, лакирует, щедро сыплет на него золотую пудру, вдевает в правое ухо увесистую золотую серьгу — колокольчик без языка. Такие серьги носят только наши. И никакая земская, приказная, стрелецкая, думская или столбовая сволочь даже

на маскарад рождественский не посмеет надеть такой колокольчик.

Самсон опрыскивает мою голову “Диким яблоком”, молча кланяется и выходит — он сделал свое цирюльное дело. Тут же возникает Федька. Морда его по-прежнему помята, но он уже успел сменить рубаху, почистить зубы и вымыть руки. Он готов к процессу моего облачения. Прикладываю ладонь к замку платяного шкапа. Замок пищит, подмигивает красным огоньком, дубовая дверь отъезжает в сторону. Каждое утро вижу я все свои восемнадцать платьев. Вид их бодрит. Сегодня обычный будний день. Стало быть — рабочая одежда.

— Деловое, — говорю я Федьке.

Он вынимает платье из шкапа, начинает одевать меня: белое, шитое крестами исподнее, красная рубаха с косым воротом, парчовая куртка с куньей оторочкой, расшитая золотыми и серебряными нитями, бархатные порты, сафьяновые красные сапоги, кованые медью. Поверх парчовой куртки Федька надевает на меня долгополый, подбитый ватой кафтан черного грубого сукна.

Глянув на себя в зеркало, закрываю шкап.

Иду в прихожую, гляжу на часы: 8:03. Время терпит. В прихожей меня уже ждут провожатые: нянька с иконою Георгия Победоносца, Федька с шапкой и поясом. Надеваю шапку черного бар-

хата с соболиной оторочкой, даю себя подпоясать широким кожаным ремнем. На ремне — слева кинжал в медных ножнах, справа “Реброфф” в деревянной кобуре. Нянька между тем крестит меня:

— Андрюшенька, храни тебя Пресвятая Богородица, святой Никола и все Оптинские старцы!

Острый подбородок ее трясется, голубенькие слезящиеся глазки смотрят с умилением. Я крещусь, целую икону святого Георгия. Нянька сует мне в карман молитву “Живый в помощи Вышняго”, вышитую матушками Новодевичьего монастыря золотом на черной ленте. Без этой молитвы я на *дела* не езжу.

— Победу на супротивных... — бормочет Федька крестясь.

Из черной горницы выглядывает Анастасия: красно-белый сарафан, русая коса на правом плече, изумрудные глаза. По заалевшим ланитам видать: волнуется. Опустила очи долу, поклонилась стремительно, тряхнув высокой грудью, скрылась за косяком дубовым. А у меня сразу *всплеск* сердечный от поклона девичьего: позапрошлая ночь темнотой парною распахнулась, стоном сладким в ушах ожила, теплым телом девичьим прижалась, зашептала жарко, кровушкой по жилам побежала.

Но — дело поперву.

А дел сегодня — невпроворот. И еще этот посол албанский...

Выхожу в сенцы. Там уж вся челядь выстроилась — скотницы, кухарка, повар, дворник, псарь, сторож, ключница:

— Здравы будьте, Андрей Данилович!

Кланяются в пояс. Киваю им, проходя. Скрипят половицы. Отворяют дверь кованую. Выхожу на двор. День солнечный выдался, с морозцем. Снега за ночь подсыпало — на елях, на заборе, на башенке сторожевой. Хорошо, когда снег! Он срам земной прикрывает. И душа чище от него делается.

Щурясь на солнце, оглядываю двор: амбар, сенник, хлев, конюшня, — все справное, добротное. Рвется кобель лохматый на цепи, повизгивают борзые в псарне за домом, кукарекает петух в хлеву. Двор выметен чисто, сугробы аккуратные, как кулички пасхальные. У ворот стоит мой “мерин” — алый, как моя рубаха, приземистый, чистый. Блестит на солнце кабиною прозрачной. А возле него конюх Тимоха с песьей головой в руке ждет, кланяется:

— Андрей Данилович, утвердите!

Показывает мне голову собачью на нынешний день: косматый волкодав, глаза закатились, язык инеем тронут, зубы желтые, сильные. Подходит.

— Валяй!